

## К прениям 1830-х гг. о русской столице

А. Л. Осоват (Москва/Лос-Анджелес)

1. В неопубликованной дневниковой записи А. И. Тургенева, сделанной в Лондоне 17/29 апреля 1831 г., следующим образом изложена его беседа (состоявшаяся в тот же день) с бароном П. А. Крюденером <sup>1</sup>:

<...> Мы опять болтали о влиянии климата русского, на севере России, на его благо- или худо-состояние: Петр I, конечно, перенес бы столицу не в болота П. <етер>бургские, а на берега Черного моря, если бы турецкая война удалась ему так, как шведская. Ему одного хотелось — моря как великого и всемирного сивилизатора народов. Сосредоточив не на севере, а на юге России богатства и средства просвещения нашей Аристокрации, вызвав ее из лесов, болот и из сугробов Империи: приучив к влиянию природы-матери, а не мачихи, открыв чувства и душу впечатлениям красот ее, и не в одной столице совокупляя, но рассылая по разным частям провинций богатые дворянские семейства, — какое бы благотельное влияние имела сия перемена на весь быт нашего Дворянства, на его независимость от ежеминутного влияния Двора и Правительства, на всю его гражданственность и на его отношения к нижним классам и к центру, вокруг коего теперь все в одной столице движется, не живет, ибо жизнь несовместима с Деспотизмом. Криднер <sic> собирался когда-то написать брошюру: *Constantinople et P<eters>bourg* — и показать противные следствия, кои могли произойти от основания столицы не в мерзлых болотах Ингерманландских, а под прекрасным небом востока, где и чума, и турки не могут отучить греков от любви, солнца, цветов и моря <...> <sup>2</sup>.

Как легко заметить, в тургеньевской записи почти совершенно элиминированы черты диалога; это — целостный (и стилистически однородный) текст, демонстрирующий тождество высказанных с обеих сторон мнений, которые слились в весьма оригинальную реплику к дискуссии об *основании / местоположении / судьбе столицы России* <sup>3</sup>.

2. В ходе этой дискуссии варьировались два общих подхода к теме Петербурга.

Во второй половине XVIII — начале XIX в. доминировала презумпция, согласно которой город, построенный на заболоченном балтийском побережье, стал столицей в полном соответствии с волей Петра I. Это стимулировало появление двух противоположных интерпретаций: основатель города понимался или как новый бог, отвоевавший земную твердь у враждебной стихии, или как амбициозный деспот, бросивший вызов силам природы. В русле первой (официальной) интерпретации возникла популярная риторическая формула: *прежде дебрь — ныне град* (исследован-

ная в хрестоматийной работе Л. В. Пумпянского); вторая же, широко представленная в европейской историографии («История Карла XII» Вольтера) и мемуаристике («Десять лет изгнания» мадам де Сталь), отразилась в сочинениях отечественных авторов, не предназначенных для печати («Путешествие в землю Офирскую» М. М. Щербатова, «Записки» Е. Р. Дашковой), не говоря уже о постоянно обновлявшейся петербургской мифологии. В этом ряду стоит и адресованная лишь царской фамилии «Записка о древней и новой России» Карамзина (1811), где констатируется «блестящая ошибка Петра Великого» («...основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных...» и т. д. <sup>4</sup>).

Не формулируя здесь антитезу *Москва* ↔ *Петербург* (уже утвердившуюся к тому времени в культурно-историческом сознании общества <sup>5</sup>), Карамзин выводит ее на поверхность в финале «Записки о московских достопамятностях» (1817), также имевшей характер конфиденциального послания — на этот раз вдовствующей императрице Марии Федоровне, — однако по стечению обстоятельств вскоре дважды опубликованной <sup>6</sup>. Читатель этого пассажа прежде всего обращает внимание на афористично декларируемый тезис («...Москва будет всегда истинною столицею России. Там средоточие Царства. <...> Глас народа, глас Божий: а в Москве более народа, чем в Петербурге» <sup>7</sup>), но не менее концептуальной является соседствующая с ним характеристика Москвы, где обыгрываются заглавные термины «Записки» 1811 г.: «Ее полуазиатская физиогномия, смесь пышности с неопрятностью, огромного с мелким, древнего с новым, образования с грубостью...» <sup>8</sup>. Поскольку этот город описывается как особая зона, которая не только проецирует весь набор контрастных черт, присущих народу и стране, но и примиряет основной национальный конфликт — «древней» и «новой» истории, то противопоставление Москвы и Петербурга может быть проведено и на уровне *целое/часть*. Нелишне отметить, что приведенная характеристика весьма близка той, которая почти одновременно была дана в главе XIV (часть вторая) книги «Десять лет изгнания» («Разнообразие нравов и наций, составляющих Россию, проявляется и в этом обширном пространстве. <...> Азия и Европа соединены в этом огромном городе» <sup>9</sup>), и безусловно, при атрибуции *mot*, приведенного мадам де Сталь в этой же главе: «Кто-то верно заметил, что Москва — это скорее страна, нежели город» <sup>10</sup>, следует принять во внимание встречу Карамзина и французской писательницы — около 20 июля (ст. ст.) 1812 г. на обеде у московского генерал-губернатора Ф. В. Ростопчина <sup>11</sup>.

В павловскую и александровскую эпохи антипетербургские высказывания почти во всех случаях маркировали принадлежность к политической фронде или оппозиции, причем последняя могла быть и либерального, и консервативного толка, а конкретное высказывание отнюдь не всегда подразумевало симпатию к Москве. Скажем, в «Записке о московских

достопамятностях» Карамзин применяет определение «республика», закрепившееся за старой столицей еще в екатерининскую эпоху, но вкладывает смысл, совершенно расходящийся с общепринятым. Согласно Карамзину, в этой республике — в отличие от Петербурга — «более свободы, но не в мыслях, а в жизни. У них <москвичей> какие-то неизменные правила, но все в пользу самодержавия: якобинца выгнали бы из Английского Клоба!»<sup>12</sup> С другой же стороны, когда такой ненавистник русского «хамства», каким был Н. И. Тургенев в 1816 г., рефлектирует совершенно в карамзинском духе («Невыгода географического положения П<етер>бурга в отношении к России представилась мне еще сильнеею, в особенности смотря по нравственному отдалению здешних умов от интересов русского народа»), наилучшим выбором ему кажется эмиграция<sup>13</sup>.

После наводнения 1824 г., хотя в печати по-прежнему господствует апологетическая концепция, происходит — пока еще не публично — легализация критического взгляда на основание Петербурга. Именно в этом контексте написан и представлен на просмотр императору «Медный всадник», в котором впервые оказались соположенными обе конфронтующие интерпретации. И показательно, что император, в качестве цензора поэмы потребовавший исключить/смягчить негативную экспрессию героя по отношению к *строителю чудотворному*, в своих частных, но ответственных беседах склонялся к карамзинской точке зрения. В начале 1836 г. новоприбывший французский посол Барант сообщал своему министру: «В другой раз он <Николай I> говорил о Петербурге: „Еще вопрос, правильно ли поступил Петр, основав здесь столицу...“ А когда я ответил, что в ту эпоху нельзя было иначе наладить отношения России с Европой, он продолжал: „Быть может, ее следовало бы цивилизовать, опираясь на внутренние ресурсы“». И далее Барант обобщил свои первые петербургские впечатления: «Вообще, эта тоска по Москве весьма распространена и вне связи с внешней политикой»<sup>14</sup>.

Существенно, однако, что ностальгия официального Петербурга по русской старине (засвидетельствованная во многих источниках) усиливается именно по мере того, как Москва утрачивает реальный политический вес и, соответственно, перестает играть роль альтернативного государственного (и национального) центра. Первым, кажется, обратил на это внимание Пушкин. В черновой редакции главы, которая в 1835 г. вошла в состав «Путешествия из Москвы в Петербург», он констатировал: «Ныне царствующий император чаще других государей удостаивает Москву своим посещением...», — и здесь эта фраза непосредственно предшествует известному пассажи (сохранившемуся в беловике): «Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве...»<sup>15</sup> Весь же данный фрагмент, в котором решительно оспорен прогноз автора «Записки о московских достопамятностях» (см. в особен-

ности инвективу из первой редакции пушкинской главы: «Ныне нет в Москве мнения народного, ныне бедствия или слава отечества не отзывается в эт<ом> сердце [России]» и т. д.<sup>16)</sup>, вторит сакраментальным строкам, собственноручно вычеркнутым Николаем I в рукописи «Медного всадника» (*И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная вдова*), и перекаивается с рядом признаний, сделанных в конце 1820-х гг. патриотом Москвы и воспитанником Карамзина князем Вяземским. «Москва упадет страшным образом», — сетовал он в письме П. Д. Киселеву от 11 декабря 1827 г.; Москва — «мертвое кладбище» (ему же, от 29 мая 1827 г.<sup>17)</sup>; ср. в этой связи атрибутивную помету, которой Чаадаев завершил текст единственного опубликованного при его жизни «Философического письма»: *Nécropolis. 1829, 1-er décembre*). Тому, что Вяземский писал из Москвы, вполне соответствует то, что Вяземский, будучи через короткое время в Петербурге, писал в Москву; изменился лишь эмоциональный градус его суждений. «Здесь одна из любимых тем разговора есть упадок Москвы, — сообщал он жене 11 апреля 1828 г. — Он существует, это правда, но не в отношении к просвещению, а только к богатству. Москва упала, потому что столица держится деньгами, а их нет в Москве»<sup>18)</sup>.

Сказанное, разумеется, не ставит под сомнение вывод о том, что в 1820—1830-х гг. «общая тенденция» пушкинского окружения выражается «в предпочтении Петербургу Москвы как некоего оазиса духовной свободы»<sup>19)</sup>. Однако здесь, на наш взгляд, имеет место двойная оптика: москвичи, которые друг за другом перебираются в Петербург, отчетливо видят все столичные «гадости», между тем как родной город в их глазах все более обволакивается ностальгической дымкой, все более архаизируется — в противовес болезненно реальной столице.

3. После наводнения 1824 г. получил распространение и второй подход к проблеме, в основе которого лежало предположение (или предположение) о том, что закладывая город на балтийском побережье, Петр I вовсе не имел намерения сделать его столицей своей империи.

Уже в одной из первых статей, посвященных ноябрьскому бедствию («*Revue encyclopédique*». 1825. Т. XIV. Janvier. P. 246—250), французский литератор Э. Геро отводил упреки в адрес Петра, утверждая, что в его замысел входил перенос столицы в Нижний Новгород. По мнению автора, подхваченному Яковом Толстым (в парижской брошюре 1827 г., посвященной книге Ж. Ансело «Шесть месяцев в России») и Вяземским (в рецензии на эту брошюру, тогда же опубликованной в «Московском телеграфе») <sup>20)</sup>, Петербург, служивший императору в качестве временной резиденции, укрепился в столичном статусе лишь при его преемниках. Если рассматривать эту версию в контексте культурно-исторической мифологии (оставляя в стороне источниковедческий анализ), то в ней можно видеть рефлекс традиции, идущей из середины XVI в. — самой начальной поры Московского царства. В числе своих прочих

сочинений, трактовавших о необходимости проведения в стране административно-политических реформ, «воинник» Иван Пересветов ознакомил Ивана Грозного с так наз. «Первым предсказанием философов и докторов», где была сформулирована мысль о переносе столицы: «А стол царский пишется в Новеграде в Нижнем, а Москва стол великому княжеству»<sup>21</sup>. Реконструируя опущенную в тексте Пересветова аргументацию, исследователи указывают на конкретные обстоятельства, обусловленные войной с Казанским ханством, а также называют причину общего свойства — расположенный на берегу Волги (при впадении в нее Оки) Нижний Новгород уже с 20-х гг. XVI в. являлся крупнейшим центром русской торговли с азиатским Востоком<sup>22</sup>. Заметим в этой связи, что схема Пересветова, не вызвавшая (как и все его предложения) интерес у Ивана Грозного, практически реализовалась в начале XVIII в.: Москва, сохранившая привилегии *порфиноносной вдовы*, передает эстафету властных функций Петербургу, местонахождение которого свидетельствует о смене ориентира в государственной политике. Только вместо *восточного* (азиатского), как, по-видимому, задумывал Пересветов, Петр I избрал *западный* (европейский).

В начале XIX в. неполный список сочинений Пересветова (в частности, здесь отсутствовал текст «Предсказания...») попал в руки Карамзину, который отобрал из него короткие фрагменты для «Истории Государства Российского» (СПб. 1821. Т. IX. Примеч. 849). И примерно в это же время «нижегородская» версия проникает на страницы печати. «Разве не мог он <Петр I> оставить Петербург торговым городом, — читаем в очерке из цикла „Московская переписка“, — и перенести столицу свою в иное место, выгодное по своим водяным сообщениям и местоположению во внутренности государства; например, в Нижний Новгород. Я уверен <...> что тогда было бы в России гораздо более русского, чем теперь; а просвещение наших праотцев (посредством торговли) совершилось бы столь же удобным образом, как и в полуиностранной нашей столице» («Северный наблюдатель». 1817. № 19. С. 162—163). В этом фрагменте *Нижний Новгород* предстает в качестве усовершенствованного субститута *Москвы*: перенимая ее основные функциональные отличия от *Петербурга* — располагаться в центре страны (а не на ее краю), быть наиболее адекватным репрезентантом русской субстанции (а не «полуиностранным» анклавом на территории России) и ее оплотом<sup>23</sup>, он к тому же обладает преимуществом как важный узел речных коммуникаций, магистральное направление которых манифестировано в псевдониме автора очерка — *Азий Непоседов*.

На этом фоне вряд ли можно счесть случайным совпадением то обстоятельство, что цитируемый очерк опубликован в год, когда в Нижний Новгород была переведена (из города Макарьева) ярмарка, которая стала крупнейшей в дореформенной России; на ней, в частности, товары азиатского производства по ценности и объему уступали только отече-

ственным<sup>24</sup>. И не исключено, что интерес французского журналиста к Нижнему Новгороду стимулировался специфическим ореолом, который в это время возник вокруг его названия.

4. Тургенев и Крюденер также исходят из того, что перенос столицы в Петербург имел вынужденный характер, но, по их убеждению, Петр мыслил свою резиденцию на юге, у теплого моря. Выбор этого направления, как бы отвечавший тем доводам здравого смысла, которые неизменно пренебрегались в истории России (ср. в «Петербургских записках 1836 года» Гоголя: «Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду: переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу»<sup>25</sup>), в то же время реминисцирует с идеей завоевания Константинополя, одной из доминантных в русском политическом и мифологическом сознании XVIII—XIX вв. Эта цель, приписывавшаяся уже Прутскому походу Петра I<sup>26</sup> (неудача которого, на взгляд Тургенева и Крюденера, имела столь важные последствия для России), а в 1736 г., в правление императрицы Анны Иоанновны, легкомысленно объявленная в составленном фельдмаршалом Б.-Х. Минихом «Генеральном плане» войны с Турцией («<...> Год 1739. Знамена и штандарты Е. И. В. будут воодружены... где? — в Константинополе. В самой первой, древнейшей греко-христианской церкви, в знаменитом восточном храме Святой Софии в Константинополе, она <Анна Иоанновна> будет коронована как императрица греческая...»<sup>27</sup>), получила военно-политическое обоснование в эпоху Екатерины II, неоднократно подчеркивавшей свое намерение «выгнать турок из Европы».

Как известно, общий контур так наз. «Греческого проекта» — плана окончательного раздела Османской империи, предусматривавшего воссоздание греческой монархии со столицей в Константинополе и под скипетром одного из представителей дома Романовых — был очерчен Г. А. Потемкиным в первой половине 1770-х гг., когда успешный ход турецкой кампании позволил России реально претендовать на статус черноморской державы. Широкою огласку этот план получил после того, как в 1779 г. Екатерина дала своему второму внуку имя *Константин*, которое носили и основатель византийской столицы, и последний константинопольский император из дома Палеологов, погибший при ее падении в 1453 г. Хотя до конкретных шагов по реализации заветной мечты Потемкина (как бы завещанной им армейскому и флотскому начальникам из лучших — А. В. Суворову и Н. С. Мордвинову<sup>28</sup>) дело не дошло, тем не менее само физическое бытие цесаревича Константина Павловича служило залогом консервации этой идеи в глубинах национального сознания, где она переплеталась с преданиями о византийской (и вообще восточной) природе святости древнерусской княжеской власти<sup>29</sup>. С другой стороны, то обстоятельство, что цесаревичу не удалось исполнить миссию,

которая была уготована ему при крещении, могло восприниматься и как роковое предзнаменование: Константину Павловичу в разные периоды предназначалось общим счетом шесть корон: русская императорская (Александр I, его старший брат, не имел наследников), две королевские (польская и шведская) и еще три (включая византийскую), придуманные для него бабкой<sup>30</sup>, но ни одна из них ему не досталась.

В николаевскую эпоху, продолжая *de facto* управлять царством Польским (с 1815 г. он состоял в должности главнокомандующего польской армией), цесаревич демонстрировал лояльность к императору, в то время как последний прислушивался к мнениям старшего брата и даже в ряде случаев уступал им. Однако, как можно судить по некоторым источникам, личные отношения Константина Павловича с Николаем Павловичем и в особенности с императрицей Александрой Федоровной, не были гладкими<sup>31</sup>, и показательное то беспокойство, с каким осведомленные современники отреагировали на смерть вдовствующей императрицы Марии Федоровны, «главного судьи» в августейшем семействе. «Боже упаси царскую фамилию от всяких раздоров <...> кто будет это все примирять? — писал А. Я. Булгаков К. Я. Булгакову 29 октября 1829 г. — Государь сам еще молод, <он — > младший брат на престоле»<sup>32</sup>. Прецедент, обративший на себя внимание публики, произошел весной 1828 г., когда цесаревич отказал императору в просьбе отправить польские соединения в начинавшийся поход против Турции. Отнюдь не разделяя «святую» цель этой войны (восстановление независимости Греции), Константин Павлович во всех смыслах остался в стороне от патристических восторгов, вызванных тем, что летом 1829 г. перед армией И. И. Дибича, без боя вошедший в Адрианополь, открылась прямая дорога на Стамбул-Царьград-Константинополь. В этот момент Николай I повел дело к выгодному и почетному миру; и твердое решение императора не допустить распад Османской империи прочитывалось тогда как разрыв с идеологическим наследием ненавистной ему бабки, включая и «Греческий проект», ассоциировавшийся с именем Константина Павловича<sup>33</sup>. (Осенью 1829 г., узнав от графа С. Г. Строгонова о настроениях в Москве, где «жалеют, что не взят Константинополь», и «старики вспоминают екатерининское время и вздыхают»<sup>34</sup>, Николай I «резко отозвался: „А я так рад, что у меня общего с этой женщиною только профиль лица“»<sup>35</sup>.) В данном случае, считаясь с угрозой непрогнозируемого изменения конъюнктуры на всем европейском театре, Николай Павлович руководствовался также очень четкой сформулированным представлением о геополитическом призвании своей империи. «Россия — держава севера, а не юга, — говорил он во время войны 1828—1829 гг. приближенным лицам. — Владеть Константинополем означало бы для нее несчастье; удалившись от двух столиц — Москвы и Петербурга, она перестала бы быть Россией»<sup>36</sup>. Отсюда проистекала его неизменная и решительная неприязнь к проектам экспансии на Балканы, какие бы цели при этом не

объявлялись: благотворительная (освобождение славян-единоверцев) или мессианская (см. в «Русской географии» Тютчева: *Москва и град Петров и Константинов град — / Вот Царства русского заветные столицы...*).

Аналогичный взгляд на Россию как на «державу севера» высказан и в лондонской беседе Тургенева и Крюденера; другое дело, что такое положение вещей они оценивают сугубо в негативном ключе. Одним из стимулов, хотя и бессознательным, к их диалогу, возможно, явилось замечание мадам де Сталь (посмертное издание книги «Десять лет изгнания» вышло в 1821 г.) о том, что, если бы Петр I устремился на юг, «это более соответствовало бы характеру нации»<sup>37</sup>. Империи русского севера, которая базируется на централизаторской (репрессивной) силе, Тургенев и Крюденер противопоставляют гипотетическую модель децентрализованного гражданского общества, которое должно было сформироваться в том локусе, где сходятся благотворный климат юга и цивилизирующая аура моря. В качестве ближайшего реального аналога мыслится Греция, получившая независимость после войны 1828—1829 г. и управлявшаяся (вплоть до гибели в октябре 1831 г.) президентом — графом Иоанном Каподистрия; его, в недалеком прошлом российский стат-секретаря по иностранным делам, проводника либеральных тенденций александровской эпохи, Тургенев и Крюденер лично знали и высоко почитали. Связанная с Россией конфессионально (и через своего президента), а с Европой — культурной и политической традициями (даже ее столица Навплия была более известна под итальянским названием *Napoli di Romania*), Греция в этот момент рисовалась собеседникам как воплощение принципов толерантности и космополитизма.

Весьма характерной чертой комментируемой беседы является то, что местоположение несостоявшейся резиденции Петра I с точностью не определено; оно как бы колеблется между берегами Черного моря, отмеченными как юг России и Константинополь. При этом константинопольский мотив собеседники разыгрывают крайне осторожно, явно не желая мобилизовывать «имперские» коннотации, которые могли бы дискредитировать тот образ альтернативного, *южного* жизнеустройства, который создало их воображение. В этом тексте Константинополь скорее выступает в роли наиболее известного греческого топонима, нежели является названием древней византийской столицы, перенесенным в русском обиходе и на столицу Турции. Заметим попутно, что в апреле 1831 г., находясь в Лондоне, Тургенев и Крюденер, вероятно, даже не имели понятия о местопребывании Константина Павловича: восстание в Варшаве, начавшееся в декабре 1830 г., застало цесаревича врасплох; отступив в Белоруссию, он оказался не у дел и 15/27 июня 1831 г. скончался (от холеры) в Витебске<sup>38</sup>.

Что же касается отвоеванного при Екатерине берега, то потенциальная столица могла бы располагаться в Крыму или, например, в Одессе



(основание которой в текстах начала XIX в. описывалось по упомянутой выше «петербургской» формуле: *Где степи лишь одне унылу мысль рождали <...> / Там ныне зданя огромные явились, / Обилие во всем и вкус и красота, / Где дикия места, где делась пустота?*<sup>39</sup>; ср. позднейшую экспликацию темы у Бенедиктова, наделяющего Одессу медиатирующей функцией: *На морском высоком бреге / Он вознесся в южной неге / Над окрестною страной <...> / Под рукой Константинополь, под другой — цветущий Крым. <...> / А Одесса что царица... и т. д.*<sup>40</sup>). Этот нереализовавшийся вариант обсуждался Екатериной II во время путешествия в Тавриду (см. запись в дневнике А. В. Храповицкого, сделанную 4 мая 1787 г.: «Говорено было о благо-растворенном воздухе и теплоте климата. <...> Жаль, что не тут построен Петербург; ибо, проезжая сии места, воображаются времена Владимира I, в кои много было обитателей в здешних странах»<sup>41</sup>), о чем Тургенев и Крюденер несомненно были осведомлены не только по слухам, но и по обнародованным к тому времени материалам императрицы (см., в частности, ее письмо П. Д. Еропкину от 20 мая 1787 г. из Бахчисарая<sup>42</sup>).

5. В одной из последних своих работ Ю. М. Лотман охарактеризовал идею переноса столиц как одну из константных в русской истории и связал ее с более широким маятниковым процессом: «стремление периферии влиться в центр и застыть в нем сменяется порывом центра вылиться на бесконечную периферию»<sup>43</sup>. Данная заметка — одна из предварительных разработок темы, научный масштаб которой нам еще неизвестен<sup>44</sup>.

## Примечания

- 1 Крюденер, занимавший в это время пост русского посланника в Вашингтоне, в начале 1831 г был откомандирован в Бельгию, которая только что провозгласила свою независимость от Голландии; оттуда он прибыл в Лондон (см.: **Ley F.** *La Russie; Paul de Křudener et soulevements nationaux, 1814—1858.* Paris, 1971. P. 121 *passim*).
- 2 РО ИРЛИ. Ф. 309. № 325. Л. 70.
- 3 Аналитический обзор основных материалов см.: **Вацуро В. Э.** Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. VI. С. 164 и след.
- 4 **Карамзин Н. М.** Записка о древней и новой России. Спб., 1914. С. 31.
- 5 Из обширной литературы, посвященной этому предмету (но, разумеется, далеко его не исчерпывающей), см., напр.: **Вацуро В. Э.** Указ. соч.; **Ziegler G.** *Moskau und Petersburg in der Russischen Literatur (Ca. 1700—1850): Zur Gestaltung eines Literarischen Stoffes.* Munchen, 1974; **Monas S.** *St. Petersburg and Moscow as Cultural Symbols* // Stawrou T. (ed.) *Art and Culture in Nineteenth-Century Russia.* Bloomington, 1983. P. 26—39; **Осипов А. Л., Тименчик Р. Д.** «Печальну повесть сохранить»: Об авторе и читателях «Медного всадника». М., 1987. Изд. 2.
- 6 После того, как этот текст — без ведома автора и с искажениями — появился в «Украинском вестнике» (1818. Ч. 10), Карамзин посчитал обязанностью перепечатать его в составе своих Сочинений (М., 1820. Т. IX).
- 7 **Карамзин Н. М.** Записки старого московского жителя. М., 1986. С. 321.
- 8 Там же.
- 9 **Madame de Staël.** *Dix années d'exil. Édition nouvelle* <...> Paris, 1904. P. 302 (далее в ссылаках: *Dix années.*)
- 10 *Dix années.* P. 301.
- 11 См.: **Дурьин С.** Г-жа де Сталь и ее русские отношения // Лит. наследство. М., 1939. Т. 33/34. С. 268, 324 (примеч. 76).
- 12 **Карамзин Н. М.** Записки старого московского жителя. С. 321. Ср. традиционную трактовку у мадам де Сталь: «Жители здесь <в Москве> более свободны, чем в Петербурге, где неизбежно обнаруживается сильное влияние двора» (*Dix années.* P. 302.)
- 13 Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 5. С. 5 (запись в дневнике от 7/19 ноября 1816 г.).
- 14 **Bagante P.** *Souvenirs.* Paris, 1895. Т. V. P. 259 (из письма герцогу де Броглио от 30 января 1836 г.; ориг. по фр.).
- 15 **Пушкин.** Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1949. Т. XI. С. 486, 247. (далее в ссылаках: *Пушкин*, с указанием тома и страницы).
- 16 *Пушкин* Т. XI. С. 482.
- 17 Рус. старина. 1896. № 12. С. 681, 680. Ср. в письме А. Я. Булгакова брату от 20 сентября 1829 г. из Москвы (Рус. архив. 1901. Кн. III. С. 357).
- 18 **Осипов Ал.** Из неизданной переписки П. А. Вяземского // Вопр. лит. 1986. № 12. С. 262.
- 19 **Вацуро В. Э.** Указ. соч. С. 163.
- 20 См.: **Вяземский П. А.** Полн. собр. соч. Спб., 1878. Т. I. С. 248.
- 21 Сочинения И. Пересветова. М.; Л., 1956. С. 162.

- 22 См Там же С 296 (коммент Я С Лурье), **Зимин А. А.** И С Пересветов и его современники М, 1958 С 377—378
- 23 В начале XIX в (во время и после войн с Наполеоном) Нижний Новгород активно превозносился как эпицентр «геройского» патриотизма, которому московская государственность была обязана спасением в эпоху Смутного времени Один из кульминационных эпизодов имел место именно в интересующий нас временной период в 1818 г на Красной площади состоялось открытие монумента (работы И П Мартоса) Минину и Пожарскому (его большая модель была показана публике еще в 1815 г) Среди инициаторов воздвижения монумента был и Карамзин («О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» // Вестн Европы 1802 № 24, **Карамзин Н. М.** Избр соч М, Л, 1964 Т 2 С 197)
- 24 См **Остроухов П. А.** Нижегородская ярмарка в 1817—1867 гг // Ист записки М, 1972 Т 90 С 221—223
- 25 **Гоголь Н. В.** Полн собр соч М, Л, 1952 Т VIII С 177
- 26 См в пушкинском конспекте «Деяний Петра Великого...» Голикова «... Карл XII продолжал страдать султана честолюбивыми замыслами Петра В доказательство представлял он выбитую в Амстерд <аме> медаль с надп <исью> *Petrus I Russo-Gracioso Monarcha* » (**Пушкин Т XI** С 153)
- 27 Архив князя Воронцова М, 1871 Кн 2 С 509
- 28 Последние, как записал секретарь Екатерины II 22 ноября 1792 г, «и спят и видят, чтоб войти с флотом в Царьград Турки тотчас убегут, там останется до 300 т <тысяч> греков — и вот наследство вел <икому> кн <язю> Константину Павловичу» (Дневник А В Храповицкого с 18 января 1782 по 17 сентября 1793 года < > М, 1901 С 243) Ср в письме Суворова принцу де Линю от ноября 1789 г (вскоре после победы при Рымнике) «Во вратах, в которых душа оставила тело последнего из Палологов, будет наш верх» (**Суворов А. В.** Письма М, 1986 С 192) См также примеч 34
- 29 По одной из версий, бродивших в народе после междоусарствия 1825 г, великий князь Константин Павлович ездил в Царьград и Иерусалим, в обоих городах он нашел письма своего отца, в которых ему «назначено после Александра быть < > царем», а в Иерусалиме — вдобавок и порфиру (**Чернов С. Н.** Слухи 1825—1826 годов (Фольклор и история) // Чернов С Н У истоков русского освободительного движения Саратов, 1960 С 332 В этой работе охарактеризована легенда о Константине — народном освободителе, подробно освещенная в кн **Чистов К. В.** Русские народные социально-утопические легенды Л, 1967 С 196—219)
- 30 См **Карнович Е. П.** Цесаревич Константин Павлович Спб, 1899 С 258
- 31 О неслетной репутации, которой пользовался цесаревич в семье Николая Павловича, см Сон юности Записки дочери императора Николая I великой княжны Ольги Николаевны < > Париж, 1963 С 20—21 Ответные эмоции, если верить мемуару княгини Д Х Ливен, также не отличались теплотой в доверительной беседе, состоявшейся 27 июня 1830 г в Варшаве, Константин Павлович, «скрежеща зубами», сказал «Я думаю, что я поумнее его <младшего брата-императора> и уж, конечно, счастливее» (**Сыроечковский Б.** К П Романов в характеристике княгини Д Х Ливен // Красный архив 1925 Т III (X) С 307—308 Этот перевод с французской рукописи, которая в составе архива Д Х Ливен хранилась в фонде, известном как «Библиотека Зимнего дворца», появился почти одновременно — и, может быть, в прямой связи — с английской публикацией материалов из данного архива, ср The unpublished Diary and Political Sketches of Princess Lieven <...> Ed by H Temperley London, 1925 P 26)
- 32 Рус архив 1901 Кн III С 191 Ср возникший после смерти Марии Федоровны слух о том, что «Константин Павлович повиновался государю только из уважения к ней, что

- теперь он совершенно отстанет от императорского дома» (**Рахматуллин М. А.** Легенда о Константине в народных толках и слухах 1825—1858 гг. // *Феодализм в России: Сб. статей <...>*. М., 1987. С. 302.).
- 33 Отметим в этой связи любопытную деталь: еще в период планирования этой кампании, когда перспектива взятия турецкой столицы рассматривалась как одна из возможных, граф В. П. Кочубей (председатель Гос. совета и Кабинета министров) говорил гостю из Пруссии Л. фон Герлаху о намерении «сделать из Константинополя республику» (*Рус. старина*. 1892. № 4. С. 55; запись в дневнике фон Герлаха от 29 января 1828 г.).
- 34 Характерный московский отклик на заключение Адрианопольского мира см. в письме А. Я. Булгакова брату от 20 сентября 1829 г.: «Ура! Зачем не видят это Екатерина II, Потемкин, батюшка <Я. И. Булгаков — посол в Стамбуле при Екатерине II>? <...> Все хорошо! Но зачем мы не в Царьграде?» (*Рус. архив*. 1901. Кн. III. С. 356—357). В среде московских патриотов того времени легко возникают упования на то, что существует некий секретный ключ к успеху, — например, обнаруженный, по слухам, «проект Суворова, как идти в Царьград» (из письма Н. М. Языкова братьям от 29 декабря 1831 г. // *Пушкин: Исследования и материалы*. Л., 1983. Т. XI. С. 283; публикация А. А. Карпова).
- 35 *Рус. архив* 1882. Кн. III. С. 115 (примеч. П. И. Бартенева).
- 36 **LaCroix P.** Histoire de la vie et di règne de Nicolas I-er. Paris, 1867. T. IV. P. 272.
- 37 Dix années. P. 321.
- 38 Как известно, мифологическим заместителем Константина Павловича был его племянник — великий князь Константин Николаевич, младший сын Николая I. В русле нашей темы заслуживает быть отмеченным текст середины 1850-х гг. («Последний султан»), в котором Константину Николаевичу одновременно переадресованы функции народного избавителя (см. примеч. 29) и константинопольского монарха: «Врата растворят златые / И русский царь взойдет в Царьград. <...> Но будет смутная свобода... / И доблий муж, победы сын, / Услышит плач, мольбы народа, / И воцарится Константин» (**Козьмин Б.** К биографии крестьянина П. А. Мартыянова // *Красный архив*. 1923. Т. 3. С. 296).
- 39 **П. Ф. Б.** Одесса // *Лицей*. 1806. Т. IV. Кн. 1. (Цит. по: **Боровой С. Я.** «Путешествие Онегина» и одесская тема в русской литературе первой трети XIX века // *Пушкин на юге*. Кишинев, 1961. Т. 2. С. 268.)
- 40 **Бенедиктов В. Г.** Стихотворения. Л., 1983. С. 177.
- 41 Дневник А. В. Храповицкого. С. 20.
- 42 См.: Высочайшие собственноручные письма и повеления <...> Екатерины Великой к покойному генералу П. Д. Еропкину. М., 1808. С. 258—259.
- 43 **Лотман Ю. М.** Тезисы к семиотике русской культуры // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 411.
- 44 Основные положения этой работы были изложены в докладе на семинаре по истории мировой культуры в ИВГИ при РГУ (сентябрь 1994 г.). Приношу благодарность С. С. Аверинцеву, А. Л. Зорину, Г. С. Кнабе и Н. Н. Мазаур, принявшим участие в полезной для автора дискуссии.

Тартуский университет  
Кафедра русской литературы  
Кафедра семиотики  
Российский государственный гуманитарный университет  
Институт высших гуманитарных исследований

# ЛОТМАНОВСКИЙ СБОРНИК

1

Издательство «ИЦ - Гарант»  
Москва 1995